# Умершие живут

# Сергей Снегов

1

Петр потерял нить спора. Рой и Генрих спорили всегда. В мире не было явления, которое братья оценили бы одинаково. Если один говорил: «да», другой сразу же откликался: «нет». Даже по виду они были не разные, а противоположные. Рой — два метра тридцать, голубоглазый, белокурый — был так обстоятелен, что отвечал речами на реплики. Генрих — всего метр девяносто восемь, черноволосый, непоседливый — даже на научных совещаниях ограничивался репликами вместо речей. Словоохотливость Роя раздражала Генриха, он насмехался над стремлением брата не упустить ни одной мелочи. Исследования по расшифровке слабых излучений человеческого мозга, уловленных приборами в межзвездном пространстве, они совершили совместно. Еще когда Генрих заканчивал школу — Рой был на семь лет старше, — братья стали работать вместе и с той поры не разлучались ни на день. Достаточно было одному чем-либо заинтересоваться, как другой тотчас загорался этим же. Трудно было найти столь же близких друзей, как эти два человека.

— Ты не желаешь слушать! — упрекнул Генрих Петра.

— ...и потому надо переработать огромный фактический материал, фиксируя сразу десятки и тысячи объектов, — невозмутимо продолжал Рой какой-то сложно задуманный аргумент.

— Тумба! — с досадой продолжал Генрих. — Даже тумба — и та внимательнее тебя, Петр.

— ...а на основе проделанного затем подсчета и отбора наиболее благоприятных случаев...

— Я отвлекся, — сказал Петр с раскаянием.

— ...учитывая, конечно, индивидуальные особенности каждого объекта, ибо на расстояниях в сотни светолет искажения неизбежны, и, кроме общей для всех характеристики, они будут пронизаны своими неповторимыми особенностями...

— Твое мнение? — потребовал Генрих.

— У меня его нет, — сказал Петр. — Я наблюдатель, а не судья.

— ...вывести общее правило поиска и применить его к расшифровке других объектов, которые, в свою очередь...

Генрих вскочил:

— Выводи общие правила, а я начну, как все люди, с самого простого.

Генрих вышел, хлопнув дверью. Рой замолчал, не закончив фразы. Петр засмеялся. Рой с укором посмотрел на него.

— Неужели вы рассчитывали, что с первого испытания все пойдет как по маслу? — спросил Петр.

— Вторая неделя, как механизмы запущены, — пожаловался Рой, — и ни одной отчетливой картины!

Петр сочувственно посмотрел на него. Братьям, конечно, не до веселья.

Сверхсветовые волны пространства, в считанные минуты уносясь за Сириус и Капеллу, фиксировали множество сфер излучения, удалявшихся от Земли, но расшифровать их не удавалось. На экране порой вспыхивало что-то туманное, нельзя было разобраться, где лица, а где деревья, где животные, а где здания, — посторонние шумы забивали голоса.

— Вы сумели разрешить самое важное: волны пространства оконтуривают все уносящиеся мозговые излучения, — сказал Петр. — Доказано, что человек оставляет после себя вечный памятник своей жизни. А что буквы на памятнике так сложны...

— На Земле уже двести лет отлично расшифровывают излучения мозга, — возразил Рой. — Но что это может оказаться так трудно по отношению к волнам, давно путешествующим в космосе...

— Вот-вот! А теперь вы тщательно разберетесь в помехах и найдете способы преодолеть их.

В комнату вошел взволнованный Генрих.

— Все механизмы уже переведены на мою систему поиска, Рой! Советую тебе убедиться, что ничего от твоих предложений в программах не сохранено.

— Если все собрано точно по твоей схеме, то не сомневаюсь в провале.

— Рой вышел.

— Устал! — сказал Генрих, опускаясь в кресло. — Две недели почти без сна... Тошнит от мысли о восстановительном душе. Рой обожает душ. А терять часы на сон жалко! Как вы обходились в своей дальней дороге?

— Мы спали, Генрих. У нас тоже имелся радиационный душ, и мы порой, особенно за Альдебараном, прибегали к нему. Но любить его — нет, это противоестественно! Когда была возможность, мы спали обычным замечательным земным сном.

— Я посплю, — пробормотал Генрих, закрывая глаза. — Минут десяток...

— Только не сейчас!.. — Петр потряс Генриха за плечо. — Когда вы запальчиво спорите, я никого из вас не понимаю. Объясни, пока Роя нет, чем твоя схема отличается от его.

— Схема? — сказал Генрих, открывая глаза. — У Роя нет схем. Рой педант.

Генрих вскочил и зашагал по комнате. Если приходилось объяснять, ему легче это было делать на ходу.

Петр наконец уяснил себе, что Рой настаивает на фиксации всех излучений мозга, обнаруженных в галактическом пространстве, а после изучения того, что объединяет их, хочет искать индивидуальную расшифровку. Генрих же настаивает, чтобы поиск начали с излучений выдающейся интенсивности, с резкой индивидуализацией — горных пиков своеобразия на плоской равнине схожестей.

— Во все времена существовали люди с особо мощной работой мозга. Пойми меня правильно, Петр, я не о признанных титанах умственного усилия... Нет, обычные люди, может, неграмотные мужики, а может, и гении, не зарекаюсь, — те, у кого мозг генерировал особо мощно...

— Мне кажется, резон в твоих рассуждениях есть.

— Скажи это Рою! Обязательно скажи!

Генрих снова опустился в кресло. Рой все не появлялся, и Петр осторожно спросил Генриха:

— Рой намекнул, что у тебя есть какие-то личные причины заниматься этой работой... Извини, если вторгся в интимное...

— Я не скрываю. Ты слыхал об Альбине?

— Знаю, что она была твоей невестой.

— И больше ничего?

— Я был в командировке на Проционе, когда она погибла при катастрофе с планетолетом. Нас всех потрясло это известие. Очаровательная, очень красивая женщина.

— К тому же — редкая умница... Гибель ее... в общем, я думал о ней ежеминутно, говорил с ней во сне и наяву. Мне захотелось возвратиться в ее жизнь, увидеть ее девочкой, подростком, девушкой... Так явилась мысль заняться волнами мозга, излученными в пространство. Механизмы разрабатывал Рой.

— А то, ради чего ты начал работу?

— С Альбиной пока не получается... Радиосфера ее мозга несется где-то между тридцатью двумя и восемью светогодами. Она умерла восемь лет назад, двадцати четырех лет от роду. Но на таком близком расстоянии — дикий хаос мозговых излучений. Слишком уж интенсивно думают наши дорогие современники...

В комнату быстро вошел Рой.

— В восьмистах пятидесяти светогодах от Земли, за Ригелем и Бетельгейзе, приемники зафиксировали мощное излучение мозга! Идемте смотреть.

2

На стереоэкране вначале прыгали цветные блики, световорот крутящихся вспышек накладывался на круговорот предметов. Потом в хаосе внезапно наступил порядок. На экране выступили цифры, знаки и буквы, они выстраивались цифра за цифрой, буква за буквой, знак за знаком.

— Формулы! — воскликнул Генрих.

— Формулы! — подтвердил Петр. — Стариннейший способ, начало алгебры. Сколько помню, такие формулы применялись на заре науки.

— Похоже, мы уловили мыслительную работу какого-то математика, — сказал через минуту Генрих. — Рой, ты все знаешь. Какие математики были в ту эпоху?

Расшифрованное излучение походило на доказательство теоремы. Неизвестный математик рассчитывал варианты, принимал одни, отвергал другие: некоторые буквы исчезали, словно стертые, другие выступали отчетливей — доказательство шло от посылок к следствиям.

— Нет, какая мощная мыслительная работа! — снова не выдержал Генрих.

— Этот парень так погружен в вычисления, что не видит ни одного окружающего предме... Что это?

На экране возникло изображение старинной улицы — кривая, круто уходящая вверх мостовая, трехэтажные красные дома с балкончиками и флюгерами, в отдалении — крестьянская телега, запряженная быком. По улице шел толстый человек в берете и темном плаще, из-под плаща выступал кружевной воротник. У человека было обрюзгшее лицо, под глазами багровые мешки, губы зло кривились. В руке он держал суковатую палку.

— Вы так задумались, господин советник Ферма, что не видите, как наталкиваетесь на прохожих, — сказал человек в берете и стукнул палкой по булыжнику. Голос у него был под стать лицу — хриплый, сварливый. — Скажите спасибо, что столкнулись со мной, а не со стеной, а не то у вас появилась бы на лбу преогромнейшая шишка!

С экрана зазвучал другой голос, растерянный и добрый:

— Простите, господин президент парламента, я временами бываю... Поверьте, я очень смущен!..

— Рад за вас, что вы смущены своей бестактностью, Ферма, — продолжал человек в кружевном воротнике. — И что вы временами «бываете», я тоже знаю. Весь вопрос, где вы бываете. Бывать на службе вы не имеете времени. Ну-с, я слушаю. О чем вы размышляли?

— У меня сегодня счастливый день, господин президент. Я наконец осуществил давно задуманное!

— Вот как, счастливый день? Осуществили задуманное? А что вас так обрадовало, Ферма? Неужели вы задумали разобраться наконец в том ворохе дел, что накопился у вас в ратуше, и осуществили задуманное? Неужели теперь никто не будет тыкать в вас пальцем как в лентяя? Ферма, может быть, вы задумали взяться за ум, как этого требует ваше благородное происхождение и незаурядные знания, а также общие пожелания граждан нашего города, и осуществили это? О, если это так, Ферёма, я вместе с вами воскликну: «Да, он имеет право быть счастливым!» Что же вы опустили голову?

— Господин президент... Я сегодня нашел доказательство одной замечательной теоремы, и какое доказательство!

Толстяк взял за локоть невидимого на экране Ферма.

— Сделаем шаг в сторону, господин советник. Вот цирюльня нашего уважаемого Пелисье, вот его реклама — уличное зеркало. Вглядитесь в зеркало, Ферма, и скажите, что вы видите?

— Странный вопрос, господин президент! Я вижу себя.

Теперь с экрана глядел второй собеседник — худое, удлиненное лицо, высокий, плитою, лоб, резко очерченный нос над крохотными, ниточкой, усиками, черные волнистые — свои, а не накладные — волосы, белый, платком, льняной воротничок.

— Я видел его портрет в музее, — прошептал Генрих. — Как похож!

— Какие лучистые глаза! — отозвался Петр. — И какое благородство и доброта в лице!

— Вы мешаете слушать! — пробормотал Рой. — Глаза как глаза — глядят!

А люди на экране продолжали беседу:

— Я скажу вам, что вы увидели в зеркале, Ферма. Вы увидели удивительного мужчину — не добившегося положения в обществе, теряющего любовь невесты, уважение окружающих... Вот кого вы увидели, Ферма! И после этого не твердите мне о дурацких доказательствах каких-то дурацких теорем. Я друг вам и как друг говорю: вы конченый человек, Ферма! Вся Тулуза издевается над вами! Арифметикой Диофанта в наше время не завоевать ни денег, ни положения, ни любви. Оставьте это старье древним грекам, которые находили в цифрах и чертежах противоестественное наслаждение, и станьте наконец в уровень с веком. До свиданья, Ферма!

— Одну минуточку, господин президент!.. Я ведь шел к вам, чтобы... Я третий месяц не получаю жалованья, господин президент!

Толстяк снова стукнул тростью о булыжник.

— И еще три месяца не получите! Жалованье! Вас не за что жаловать. Подумайте над моими словами, Ферма.

Толстяк медленно поднимался по крутой улице, а дома стояли неподвижно. Потом дома пришли в движение, теперь улица опускалась. Дома уходили вверх, их сменяли новые — Ферма шел вниз. Улица стала тускнеть, сквозь кирпич стен и булыжник мостовой проступили буквы и знаки — мозг Ферма снова заполнили формулы. Вскоре от внешнего мира не осталось и силуэтов — на экране светило лишь сызнова повторяемое вычисление.

А потом сквозь математические знаки проступила заставленная вещами комната — картины и гобелены на стенах, высокие резные шкафы по углам. В сумрачной комнате, освещенной одним узким окном, всюду виднелись книги — заваливали диван, возвышались горками на полу. Одна, огромная, в кожаном переплете, лежала на столике — на экране руки Ферма перелистывали страницы фолианта.

На пороге комнаты стояла старуха в чепце.

— Отвлекитесь от Диофанта, господин Ферма, — говорила старуха. — Удалось вам достать хоть немного денег? У меня не на что покупать провизию, господин Ферма. Вы меня слышите?

— Слышу, слышу, дорогая Элоиза, — донесся с экрана торопливый голос Ферма. — Я слышу тебя самым отличным... Что ты хочешь от меня?

— Я хочу вас накормить, а на это нужны деньги.

— К несчастью, Элоиза, поход был неудачен. Президент пригрозил, что не будет платить еще три месяца.

— Боже, что вы говорите! Еще три месяца без жалованья!

— Пустяки, Элоиза! Всего девяносто один день. Продай что-нибудь, и мы отлично проведем эти три месяца.

— А что продать? Самое ценное у вас — книги, но вы не разрешаете даже пыль с них стирать.

— И не разрешу, Элоиза! Книги святей икон.

— Не кощунствуйте! Может, продать шкаф?

— Правильно! На что нам так много шкафов?

— А куда вы будете класть свои книги? Я лучше предложу старьевщику господину Пежо наши гобелены.

— Ты умница, Элоиза! Гобелены давно мне надоели. Сейчас я их сниму со стен.

— Постойте, господин Ферма! Я вспомнила, что они закрывают места, где отлетела штукатурка. Лучше шкафы!

— Вот видишь, я первый сказал о шкафах. Зови Пежо, а пока, пожалуйста, оставь меня. У меня важное вычисление.

— У вас всегда важные вычисления. Я должна сказать еще кое-что.

— Говори, только поскорее.

— Вчера у Мари был день ангела. Вы забыли об этом?

— Что? Я забыл о дне ангела своей дорогой невесты? Как у тебя язык повернулся сказать такое! Неразумная Элоиза! Да я вчера только о Мари и думал! Весь день думал о ней.

— И не пошли ее поздравить! Вас пригласили к ней, но вы не явились.

— Ах, черт! Правильно, не пошел... Потому что именно вчера мне явилась великолепная идея, и я немедленно сел ее разрабатывать. Поздравь меня, Элоиза, я добился необыкновенного успеха!

— Все ваши успехи в арифметике не помогут мне сварить даже постного супа. И они не восстановят потерянных надежд на устройство семьи!

— Что ты каркаешь? Какие потерянные надежды?

— Я так хотела вашего счастья, я так любила Мари!..

— Элоиза, твои слезы разрывают мне сердце! Вытри глаза! Ты сказала что-то странное о Мари, я не понял.

— Она недавно приходила, ваша Мари. И она сказала, что по настоянию родителей и по решению своего сердца освобождает вас от вашего обещания... Она раздумала связывать свою жизнь с вашей... Что с вами, господин Ферма?

— Ты что-то спросила, Элоиза? Нет, я...

— Что вы собираетесь делать?

— А что я могу?.. Если вдуматься... Правда, я люблю ее... Но еще не было на свете женщин, которые довольствовались бы одной любовью!

— Много вы знаете о женщинах! Вы свою арифметику знаете, а не женщин. Слушайте меня, господин Ферма. Мари от нас ушла к вечерне. Вечерня кончается через час. Идите к собору, объяснитесь с ней. Дайте обещание зажить по-иному. Она любит вас, поверьте старухе!

— Это, пожалуй... Пообещать с завтрашнего дня зажить по-другому!.. Элоиза, ты возвращаешь меня к жизни! Так ты говоришь, вечерня кончается через час?

— Ровно через час, не опоздайте! А я пойду упрашивать господина Пежо раскошелиться на один из ваших шкафов.

Вещи пришли в движение, они перемещались — хозяин комнаты метался из угла в угол. Постепенно вещи стали замирать, а на экране, пока еще туманные, проступали математические знаки.

Теперь весь экран занимала книга, тот фолиант, что лежал на столе. Ферма перелистывал пергаментные страницы, потом схватил перо и пододвинул бумагу. Знаки и числа теснились друг к другу. Ферма заносил на бумагу вычисление, неотступно стоявшее в его мозгу. Только раз он отвлекся и, посмотрев на стенные часы, сказал:

— Я что-то должен был сделать? Ладно, придет Элоиза...

А затем, доведя вычисление до конца, он снова обратился к фолианту и торопливо, брызгая чернилами, стал писать на его полях. Это было уже не вычисление, а излияние. Ферма перекликался с великим математиком древности, умершим за полторы тысячи лет до него. Ферма сообщал ему и миру о событиях сегодняшнего дня.

«Я нашел поистине удивительное доказательство этой теоремы, — записывал он и читал вслух свои записи, — но поля Диофанта слишком малы, и оно не уместится на них...»

Он взял листочек с вычислением, минуту любовался им — весь экран закрыли знаки, буквы и числа — и, свернув листочек, вложил его между страницами Диофанта. На экране появилось его лицо. Ферма подошел к зеркалу. В зеркале засияли огромные, чуть выпуклые, очень добрые глаза, они смеялись, все лицо смеялось.

— Ты счастливый человек, Пьер! — торжественно сказал Ферма. — Какой день! Нет, какой благословенный день! Я скажу тебе по чести, Пьер: вся прожитая тобой жизнь не стоит одного этого необыкновенного, этого восхитительного дня! Говорю тебе, истинно говорю тебе — нет сегодня счастливей тебя в целом мире!

Радость так и лучилась из Ферма, и потомки, через восемьсот пятьдесят лет ставшие свидетелями его торжества, радовались вместе с ним. А потом излучения мозга Ферма стали забиваться другими — на экране заплясали световые блики.

— Каково? — с торжеством сказал Генрих.

— Согласен, кое-что твоя схема дает, — признал Рой. — Но случай с Ферма пока единичен.

— Мы, очевидно, присутствовали при создании того знаменитого доказательства великой теоремы Ферма, которое впоследствии утеряли и которое, сколько помню, не сумели восстановить соединенные усилия математиков мира в течение многих столетий, — сказал Петр.

— Я наведу справку, доказана ли уже теорема Ферма! — крикнул Генрих и скрылся.

— Думаю, все записанное Ферма на том клочке бумаги будет теперь восстановлено полностью, — заметил Рой. Генрих вернулся сияющий.

— Нет! До сих пор — нет! Почти девять столетий протекло с того дня, и человечество не сумело повторить его удивительное доказательство! Естественно, что он так радовался! Но вот что интересно: работы Ферма после его смерти издал его сын Семюэль. Очевидно, Ферма все-таки женился.

— Не каждый день он доказывал по великой теореме, — возразил Рой. — Нашлись свободные часы и для невесты. Важно другое: в тот знаменательный день мозг Ферма работал с такой интенсивностью, что далеко обогнал среднюю интенсивность мозга людей его поколения. Даже рассеянно оглядывая свою Тулузу и обстановку комнаты, он сохранил нам яркий рисунок домов и вещей, и лица, и голоса того президента и той старушки Эло...

На экране вспыхнула новая картина. Генрих нетерпеливо сказал:

— Рой, повремени с комментариями! Дешифраторы передали в зал, что на расстоянии в тысячу светолет от Земли приемники уловили еще одно излучение мозга такой четкости и силы, что оно сравнительно легко поддается переводу в образы и слова. — Тысячу лет назад! — воскликнул Генрих. — Кто бы это мог быть?

— Твои восторженные крики не лучше моих комментариев, — сказал обиженный Рой.

3

Это была тюремная камера. На полу вповалку лежали заключенные, в квадратик окошка под потолком лился солнечный свет — сноп его не рассеивал, а лишь пронзал полумрак. Фигуры спящих людей, закутанных в рванье, были неразличимо схожи, и лишь один выделялся в сумрачной массе. Этот человек был так же скверно одет, так же скрючился на полу, чуть ли не подтягивал колени к подбородку — над спящими возносился белый парок дыхания, в углах камеры тускло поблескивала наледь, — так же тяжело дышал, сомкнув глаза, так же стонал не то во сне, не то в забытьи. И только единственное выделяло его среди товарищей: он выступал в полумраке отчетливо, с такими подробностями, словно кто-то со стороны пристально рассматривал его, все остальное охватывая лишь как фон.

Кого-то неизвестного, чьи мозговые излучения были расшифрованы через тысячу лет, интересовал только один из всех людей, лежащих на полу тюремной камеры, и он всматривался в этого заключенного со скорбью и жалостью.

Человек на полу лежал в стороне от проникшего в камеру солнечного луча, но голова его была освещена так ярко, словно свет падал на нее одну. Достаточно было взгляда на эту странную голову, чтобы выделить ее среди других и запомнить: круглый череп, лишенный волос, круглое безбровое лицо, очень острый тонкий нос, тонкие губы насмешника, остроконечный подбородок человека безвольного, гигантский лоб мыслителя над маленькими глазами, впалые щеки туберкулезника, окрашенные на скулах кирпичным румянцем. Человек, не открывая глаз и жалко морщась, кашлял и прижимал руку к груди

— в груди болело. Так же, по-прежнему не открывая глаз, он внятно — и грустно и насмешливо — проговорил стихами («перевод с французского на современный международный», — доложили дешифраторы):

А я уже полумертвец, Покрыт холодным смертным потом И чую: близок мой конец, И душит липкая мокрота...

— Послушайте, это он себя рассматривает! — зашептал Генрих. — Он словно бы рассматривает себя со стороны!

— Стихи Франсуа Вийона, — добавил Рой. — Был такой французский поэт, и жил он как раз тысячу лет назад.

На громко произнесенные стихи поднял голову один из лежавших на полу. И сейчас же картина переменилась. Камера сохранилась, но тот, кто читал стихи, пропал, лишь голос его слышался ясно, и все стало таким, как будто происходившее в камере рассматривалось теперь его глазами.

Человек, поднявший голову, был одноглаз и свиреп на вид.

— Плохо тебе, Франсуа? — прохрипел он. — Ну и слабенькое у тебя здоровье!

— Побыл бы ты с полгода в Менских подвалах проклятого епископа д'Оссиньи Тибо, посмотрел бы я на твое здоровье, Жак! — проворчал человек, читавший стихи. — Вот уж кому не прощу! — Он снова — и неожиданно весело — заговорил стихами:

...церковь нам твердит, Чтоб мы врагов своих прощали...

Что ж делать! Бог его простит!

Да только я прощу едва ли.

Их разговор заставил приподняться еще нескольких заключенных. Почесываясь и зевая, они приваливались один к другому плечами, чтоб сохранить тепло.

— Черта ему в твоем прощении! — продолжал одноглазый Жак. — д'Оссиньи живет в райском дворце, его моления прямехонько доставляются ангелами в руки всевышнему. А тебе доля — светить лысой башкой в камере. Отсюда не то что скромного моления — вопля на улице не услышишь.

— Все же я буду молить и проклинать, друг мой громила Жак! — возразил Франсуа. — И если я как следует, с хорошими рифмами, со слезой, не помолюсь за нас за всех, вам же хуже будет, отверженные! Или вы надеетесь, что за вас помолятся кюре и епископы? Святая братия занята жратвой и питьем, им не до вас! Теперь послушайте, как у меня получается моление.

Изменив голос на пронзительно-скорбный, Франсуа не то пропел, не то продекламировал:

О господи, открой нам двери рая!

Мы жили на земле, в аду сгорая.

В разговор вступил третий заключенный. Этот лежал в углу, где поблескивал на стене лед, — и даже голос его казался промерзшим:

— Зачем тебе молиться, Франсуа? Ровно через двое суток тебя благополучно вздернут на виселице, и ты, освобожденный от земных тягот, взмоешь на небеса. Побереги пыл для личного объяснения с господом, а в разговоре со всевышним походатайствуй и за нас. Если, конечно, тебя с виселицы не доставят в лапы Вельзевулу, что вероятней.

На это Вийон насмешливо откликнулся другими стихами:

Я — Франсуа, чему не рад.

Увы, ждет смерть злодея, И сколько весит этот зад, Узнает скоро шея.

Камера ответила хохотом.

Теперь проснулись все, и все смеялись. Заключенные глядели с экрана в зал на невидимого Франсуа и гоготали — очевидно, он скорчил очень уж умильную рожу. Лязгнули запоры, и на шум вошел сторож — высокий, как фонарный столб, и такой же худой. В довершение сходства удлиненная голова напоминала фонарь. На багровом, словно подожженном лице тюремщика топорщились седые усы в локоть длиной. Он с минуту укоризненно разглядывал Вийона.

— Опять шутовские куплетики? — проговорил он неодобрительно. — Разве вас заботливо засадили в лучшую тюрьму Парижа, чтобы вы хохотали? Ах, Франсуа, послезавтра тебе отдавать богу душу, а ты своим нечестивым весельем отвлекаешь добрых людей от благочестивых мыслей о предстоящей им горькой участи!

С экрана раздался дерзкий голос невидимого Франсуа:

Я не могу писать без шуток, Иначе впору помереть.

— Именно впору, — подтвердил сторож. — Говорю тебе, послезавтра. По-христиански мне жаль тебя, ибо в аду за тебя возьмутся по-настоящему. Но по-человечески я рад, ибо с твоим уходом тюрьма снова станет хорошей тюрьмой — из того легкомысленного заведения, в которое ты ее превращаешь.

— Послушай, Этьен Гарнье, я согласен, что веду себя в тюрьме не слишком серьезно, — возразил Вийон. — Но ведь вы можете избавиться от меня, не прибегая к виселице. Я не буду возражать, если ты вытолкнешь меня на волю невежливым пинком в зад.

— На волю! — Сторож захохотал. — Из того, что ты мало подходишь для тюрьмы, еще не следует, что тебе будет хорошо на воле. Франсуа, ты должен вскрикивать от ужаса при мысли о воле. Воля на тебя действует плохо, мой мальчик.

— И ты берешься доказать это?

— Разумеется. Я не бакалавр искусств, как ты, но что мое, то мое. И общение с вашим братом, отпетыми, научило меня красноречию. Думаю, мне легко удастся переубедить тебя в трех твоих заблуждениях: в любви к воле, в ненависти к тюрьме и в противоестественном отвращении к виселице.

— Что же, начнем наш диспут, любезный магистр несвободных искусств заточения Этьен Гарнье.

— Начнем, Франсуа. Мой первый тезис таков... Впрочем, надо раньше выбрать судью, чтобы все было как в Сорбонне!

— Ты считаешь, что тюрьма подобна Сорбонне?

— Она выше, Франсуа. В Сорбонне ты был школяром, сюда явился бакалавром! Школяров мы держим мало, зато магистры и доктора встречаются нередко. И мы кормим своих обитателей, кормим, Франсуа, кормим, а кто вас кормит в Сорбонне?.. Как же будет насчет судьи?

Камера, сгрудившаяся вокруг Гарнье и Франсуа, дружно загомонила:

— Жака Одноглазого! Жака в судьи!

— Пусть будет Жак! — согласился сторож, и Одноглазый выдвинулся вперед. — Итак, мой первый тезис: воля плохо действует на тебя, Франсуа. Она убивает тебя, друг мой. Тебе тридцать два года, а ты похож на старика. Ты лыс, у тебя выпали зубы, руки дрожат, ноги подгибаются. Ты кашляешь кровью — это от излишества воли, Франсуа Вийон! Тебя сгубили вино и женщины. Я бы добавил к этому и рифмы, но рифмами ты балуешься и в тюрьме. Чего ты добился, проведя столько лет на воле? Ты имеешь меньше, чем имел в момент, когда явился в этот мир, ибо растерял здоровье и добрые начала, заложенные в тебя девятимесячным трудом твоей матери. У тебя нет ни жилья, ни одежды, ни денег, ни еды, ни службы. Что ждет тебя, если ты вырвешься на волю? Голод, одиночество и верная смерть через месяц или даже раньше — мучительная смерть где-нибудь под забором или на лежанке какой-нибудь подружки, приютившей тебя из жалости. Я слушаю тебя, Франсуа.

— Гарнье, жестокий, бестолковый Гарнье, ты даже не подозреваешь, как прав! Все же я опровергну тебя. Да, конечно, я пострадал от излишеств воли, но я знал вволю излишеств! Не всегда, но часто, очень часто я бывал до усталости сыт. Меня любили женщины, Гарнье, тебе этого не понять, тебя никто не любил, ты сам себя не любишь! А друзья? Где еще есть такие верные друзья, как на воле? Кулак за кулак, нож за нож! И я согласен, что, выйдя на волю, через две недели умру. Но что это будут за две недели, Гарнье! Я напьюсь вдосталь вина, нажрусь жирных яств, набегаюсь по кривушкам Парижа, насплюсь у щедрых на ласку потаскух, пожарюсь у пылающих каминов и позабуду холод твоей камеры — вот что будет со мной в отпущенные на жизнь две недели! Таков мой ответ тебе, Гарнье. А скорой смерти, так щедро обещанной тобою, я не боюсь, нет!..

...судьба одна!

Я видел все — все в мире бренно, И смерть мне больше не страшна!

— Ты губишь не одно тело, но и душу, Франсуа. Воля иссушает твою заблудшую душу, мой мальчик. А душа важнее тела, поверь мне, я много раз видел, как легко распадается тело. Сохрани свою бедную душу для длинной жизни, Франсуа!

— На это у меня есть готовый ответ:

Легко расстанусь я с душой, Из глины сделан, стану глиной; Кто сыт по горло нищетой, Тот не стремится к жизни длинной!

— Что ж, и тезис убедителен, и возражение неплохо! — объявил Жак Одноглазый. — Будем считать, что ни один не взял верх.

— Слушай теперь мой второй тезис, Франсуа. Ты должен любить, а не ненавидеть тюрьму. Ни дома, ни в монастыре, ни в церкви ты не встретишь такого воистину христианского обращения, как в тюрьме. Здесь тебя по заслугам ценят и опекают, Франсуа. Тебе предоставили место для спанья, а всегда ли ты имел такое место на воле? Тебя регулярно кормят — не жирными каплунами, конечно, но знал ли ты каплунов на воле? За тобой следят, заботятся о твоем здоровье, дают вволю спать. А если ты позовешь на помощь, разве немедленно не появлюсь я? Разве наш добрый хирург мосье Бракке не пустит тебе кровь, если ты станешь задыхаться? Тюрьма — единственное место в мире, где не примирятся с твоей болезнью, не допустят твоей преждевременной смерти. Господин судья сказал мне: «Гарнье, Вийон должен своими ногами взойти на эшафот». И можешь поверить, дорогой Франсуа, я недосплю ночей, но не допущу, чтобы болезнь осилила тебя. Такова тюрьма.

— На это я отвечу тебе: прелести воли не потускнели в моих глазах от того, что ты красноречиво расписал удобства тюрьмы.

— Тезис силен, а возражение неубедительно! — объявил Жак Одноглазый.

— По второму пункту победил Гарнье.

— Тезис третий: ты должен стремиться на виселицу, а не увиливать от нее, — возгласил торжествующий Гарнье. — Нет большего счастья для тебя, чем добропорядочная виселица. Для тебя, Франсуа, виселица не кара, а избавление. Избавление от недуга, что гнетет тебя, от мук неизбежного умирания, от боли в костях и легких, от голода и холода, от неизбывных долгов, от нищеты, от коварных друзей, от всех напастей, от всего горя, что переполняет твое сердце. Виселица для тебя выход в истинную свободу из юдоли скорби и слез. Один шаг, всего полувздох — и ты в царстве вечного облегчения и радости. А если по заслугам твоим ты угодишь не в рай, а кое-куда пониже, то горших мук, чем твои земные, и там не узнаешь. Разве ты не орал полчаса назад в этой камере как оглашенный: «Мы жили на земле, в аду сгорая». И подумай еще о том, Франсуа, что в тех подземельях под раем тебе уже никогда не придется жаловаться на недостаток тепла, а здесь ты трясешься даже в солнечные дни. Говорю тебе, спеши на виселицу, спеши на виселицу, Франсуа!

— Перестань, проклятый Гарнье! Чума, чума на твое злое сердце! Не хочу умирать, слышишь, не хочу умирать, Гарнье! Боже мой, жить, только жить! Любая жизнь — в тысячу раз хуже этой, но жизнь, жизнь, жизнь!

— Еще минуту назад ты хвастался: смерть мне не страшна!

— Замолчи, Франсуа! — сказал Жак Одноглазый. — Не узнаю тебя. С чего ты разорался? Слушайте мое решение о споре. Восхваление виселицы меня не убедило. Истинный христианин не должен стремиться на виселицу. По этому пункту победа за Франсуа Вийоном, хоть он не удосужился подыскать дельные возражения. А в целом диспут окончен безрезультатно.

— Ты необъективен, Жак Одноглазый! — возразил уязвленный сторож. — В тебе заговорили личные антипатии, и ты заставил молчать внутренний голос справедливости. В скором времени и тебе придется подставить шею объятиям волосяных рук, и ты заранее ненавидишь виселицу. Так порядочные люди не поступают, поверь мне, Жак, я опекал в моих камерах многих порядочных людей.

— Выбирай выражения поосторожней, Гарнье! — зарычал Жак. — Меня обвиняли в разбое, грабежах, насилиях и убийствах, и я не опровергал обвинений. Но в непорядочности никто не смел меня упрекнуть, и я никому не позволю...

— Успокойся, Жак! — дружелюбно сказал Гарнье. — Никто больше меня не ценит твоих достоинств. Я знаю, что ты с честью носишь прозвище «Громила». Но выше всего для меня объективность и справедливость; эта неразлучная парочка понятий — мои фамильные святые, если хочешь знать. Сейчас я покажу вам, что такое настоящая объективность, друзья. Франсуа! — обратился он к Вийону. — Ты просил передать свой письменный протест на приговор парижского суда. Лично я считаю, как уже доказывал тебе, что виселица — лучший для тебя исход. Но, скрепив свое сердце, я доставил твое обжалование по назначению. Жди скорого решения.

— Спасибо, Гарнье! — воскликнул обрадованный Франсуа. — За это я отблагодарю тебя по-королевски: я напишу балладу в твою честь, чтоб обессмертить твое имя!

— Лучше бы ты орал свои стихи не так громко, — проворчал сторож, открывая дверь. — Столько хлопот с тобой, Франсуа! В парижской тюрьме нет чиновника серьезнее меня, но и меня своими непотребными куплетами ты порою заставляешь хохотать, вот до чего ты меня доводишь, Франсуа!

Дверь захлопнулась, снаружи залязгали затворы. Солнечный сноп снова превратился в луч, луч тускнел. Один из заключенных с тоской смотрел в окошко. За окном густели тучи.

— Кажется, снег пойдет! — сказал он. — Только снега нам не хватало!

— Когда валит снег, морозы спадают, — возразил Жак. Он подошел к Вийону, положил ему руку на плечо. Половину экрана заняло его лицо, единственный глаз Жака смотрел зорко и сочувственно. — О чем задумался, Франсуа? Лучше прочти что-нибудь из Большого Завещания, что ты недавно написал.

— Прочти! Прочти, Франсуа! — раздались крики. — Что-нибудь позабористей, Франсуа!

— Я прочту балладу о дамах минувших времен, хорошо?

— Давай о минувших дамах, — согласился Жак. — Минувшие дамы — тоже неплохо.

Теперь снова был слышен один голос Вийона. Камера превратилась в нечто неопределенное и серое — Вийон, читая, закрывал глаза:

Где Элоиза, та, чьи дни Прославил павший на колени Пьер Абеляр из Сен-Дени?

Где Бланш, чей голос так сродни Малиновке в кустах сирени?

Где Жанна, дева из Лорени, В огне окончившая век?..

Мария! Где все эти тени?

Увы! Где прошлогодний снег?

— Изрядно! — сказал Жак. — Просто слеза прошибает, так жалко погибших дам. Но я просил стихов повеселее. Помнишь, ты издевался над офицерами полицейской стражи, ну, и о прекрасной оружейнице или о толстухе Марго. Что-нибудь поострее, Франсуа!..

— Тогда я прочитаю вам стихи, написанные во время поэтического состязания в Блуа при дворе герцога Карла Орлеанского. Он сам задал нам тему — доказывать недоказуемое, сам вместе с другими поэтами писал баллады, но я его переплюнул, и, кажется, ему это не понравилось.

От жажды умираю над ручьем.

Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.

Куда бы ни пошел, везде мой дом, Чужбина мне — страна моя родная.

Я знаю все, я ничего не знаю.

Мне из людей всего понятней тот, Кто лебедицу вороном зовет.

Я сомневаюсь в явном, верю чуду.

Нагой, как червь, пышнее всех господ.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Голос Вийона сделал остановку. Камера ответила на остановку хохотом и восклицаниями:

— Вот это да! Ах же дает, стервец! Всеми принят, изгнан отовсюду — слышал, Жак? Нет, ты послушай — лебедицу вороном!.. И над ручьем, над ручьем — от жажды, ха-ха-ха! Франсуа, нет, для тебя и виселицы слишком уж мало! Говорю вам, он может, братцы, он может!

Когда шум стал затихать, Франсуа продолжал:

Я скуп и расточителен во всем.

Я жду и ничего не ожидаю.

Я нищ, и я кичусь своим добром.

Трещит мороз — я вижу розы мая.

Долина слез мне радостнее рая.

Зажгут костер — и дрожь меня берет, Мне сердце отогреет только лед.

Запомню шутку я и вдруг забуду, И для меня презрение — почет.

Я всеми принят, изгнан отовсюду...

Внезапно чтение прервалось, послышалось рыдание. Экран заполнило растерянное, безобразное лицо Жака Одноглазого.

— Франсуа, что с тобой? Проклятый Гарнье, это он тебя расстроил! Да успокойся же, успокойся!

— Никто не понимает, никто! — лепетал голос Вийона. — Я так несчастен, Жак! И вы тоже, даже вы!..

— Перестань плакать! Кто тебя не понимает? О чем ты говоришь, Франсуа? Ты говоришь о виселице, к которой тебя...

— Я говорю об этих стихах, что я в Блуа... Это ведь правда, Жак, здесь каждое слово правда! Я плакал, когда писал их, ибо ничего более искреннего о себе... А все смеются, всем кажется, что я острю. Вы хохотали, будьте вы прокляты все!

Жак хотел что-то сказать, но его оборвал грохот дверных запоров. В камеру вошел Гарнье.

— Франсуа, — сказал он, — парижский суд помиловал тебя, лысый мальчик. Суд заменяет тебе виселицу десятилетним изгнанием из Парижа. Можешь уходить на волю. Но помни, что в душе я дружески скорблю о тебе, ибо выпускаю тебя не на радость, а в лапы мучительного умирания. Ты еще скажешь мне, Франсуа, я верю в твою честность, хоть ты пишешь неприличные стихи, которые не переживут тебя, ты еще воззовешь ко мне в сердце своем: «Друг мой Гарнье, ты прав, виселица была бы мне лучше жизни!..»

4

Камера потускнела, страстные импульсы мозга Вийона, уже тысячу лет, постепенно ослабевая, мчавшиеся в галактическом пространстве, забивались шумами других излучений. На минуту показался древний Париж — темный переулочек, кривые дома, смыкавшиеся верхними этажами, золотарь с переполненной бочкой, распахнувший пасть в половину экрана: «Ах, Франсуа, ты ли это! Иди сюда, крошка, я тебя поцелую!» Еще на минуту запылали дрова в камине, пламя выхлестывалось наружу, оно то отдалялось, то близилось — Вийон, озябший, лез к огню и, обжигаемый, отскакивал. Затем и эти видения пропали. На экране больше не возникало никаких картин. Рой выключил аппараты.

— Неужели мы не разрешим загадку его смерти? — сказал огорченный Генрих. — Сколько помню, гибель Вийона окутывает тайна.

— Давайте подведем итоги, — предложил Рой, игнорируя сетования брата.

— Мне кажется, можно подискутировать и о результатах, и о новых задачах.

О чем говорили работники института, Петр слушал с пятого на десятое. Его томило удивительное ощущение, он хотел разобраться в нем и уже собирался уходить, когда Рой спросил:

— Разве тебя не интересуют наши предположения?

Петр заставил себя слушать внимательнее. Сотрудники института одобряли идею Генриха — искать излучения большой интенсивности, чтобы с их расшифровки начать знакомство с летописью давно умерших людей. Но этого мало. Надо усовершенствовать аппарат, чтобы читать любую волну, излученную любым человеческим мозгом. Выяснить и записать события жизни, мысли и чувства всех людей, живших когда-либо на Земле. Нет человека, от неандертальца до современника, чья жизнь не заслуживала бы изучения. То, что в прежние времена называлось наукой историей, пока лишь каталог действий и дат отдельных выдающихся людей: сильных интеллектом ученых, инженеров, мастеров искусств и важных должностью полководцев и монархов. Их институт ныне покончит с таким унизительным обращением с людьми, простые станут равны великим. За время существования человечества на Земле жило около двухсот миллиардов человек. Составить двести миллиардов биографий, разработать новую науку о человеческой истории — такова задача.

Петр вслушивался в споры и предложения, честно старался во всем разобраться, но мысль его, прихотливая и яркая, уходила в сторону... Он снова видел крутую улицу Тулузы, холодную камеру, грязные кривушки Парижа, с ним разговаривали президенты парламентов, тюремные сторожа, беспутные бродяги и воры. И Петру хотелось, оборвав споры, отчаянно крикнуть: «Послушайте, да понимаете ли вы, что это такое! Это же иной мир, совершенно иной мир, и он отдален от нас всего одной тысячей лет!»

Да, конечно, и он, и сотрудники института, и тот же Рой, и тот же Генрих, — они все учили историю; по книгам, по лекциям, по стереокартинам в музеях им известно прошлое человечества, так неожиданно зазвучавшее сегодня с экрана. Нового нет ничего, он знал все это и раньше... Все новое, все! Он раньше воспринимал ту эпоху спокойной мыслью, не чувством. Сегодня он ощутил ее, испытал потрясенной душой, сегодня он побывал в ней

— и в ужасе отшатнулся!

И Петр подумал о том, что и ему, и работникам института, и всем людям его времени, вероятно, так до конца и не понять своих предков, горевавших и насмехавшихся сегодня на экране — и все дальше от Земли уносящих отлитое крепче, чем в бронзе, волновое воплощение своего горя и смеха. Три четверти их забот, девять десятых их страданий, почти все их напасти, да что таиться, и две трети их радостей чужды современному человеку. Нет уже ни советников, ни президентов парламентов, ни тюрем, ни тюремщиков, ни воров, ни бродяг, ни чахоток, ни потаскух, ни голода и холода, ни преждевременной старости, ни насилия над творчеством. Ничто, ничто теперь не объединяет людей с мучительно прозябавшими на Земле предками, незачем пылать их отпылавшим страданиям — о них нужно эрудированно рассуждать, больше ничего не требуется.

Так молчаливо твердил себе Петр, чтоб успокоиться. Но успокоение не наступало, смятение терзало все горше. Он стал сопричастен чужому страданию и боли — и сам содрогался от боли, и сам страдал за всех незнакомых, давно отстрадавших... Генрих толкнул друга рукой:

— У тебя такое лицо, словно собираешься плакать! Ответь Рою.

Петр поднялся.

— Боюсь, ничего интересного для вас не скажу. Разрешите мне уйти, я устал.

5

Была ночь, и Петр один шагал по пустому бульвару. Он мог бы, конечно, вызвать авиетку, но домой не хотелось — ему вообще никуда сейчас не хотелось.

Он присел на скамью, отыскал в небе созвездие Стрельца. Отсюда, без приборов, созвездие было маленьким и тусклым. Петр закрыл глаза. К нему вдруг вернулись чувства, томившие его во время долгой экспедиции к центру Галактики.

— Пустота, — прошептал он, вспоминая пережитые и преодоленные страхи.

— Боже мой, абсолютная бездна! И мы ее вытерпели!

Вытерпели? Все осталось позади, все совершалось сызнова. Он сидел с закрытыми глазами на скамейке ночного бульвара — и мчался в гигантское сгущение звезд. Светил было так много, что в страшном своем далеке они казались туманным облачком — сияющее расплывчатое пятно, чуть мерцающее сквозь космическую пыль... Нет, как они тогда говорили? В Галактике пылает звездный пожар, и пламя заволок дым. Да, кажется, так они говорили. Они подшучивали и трудились, надо было поддерживать себя шуткой и работой — кругом была бездна! Машины звездолета уничтожали впереди пространство, корабль вырвался в сверхсветовую область, оставил за собой релятивистские эффекты повседневного мира, но, изменяя метрику космоса, он не отменил безмерности мирового простора: кругом по-прежнему была бездна, и они падали, все падали, все падали в бездну, в три тысячи раз обгоняя свет, — бездне не было дна!

Да, в этом была главная мука, если уж говорить о муках. Ни один человек на Земле и окружающих Солнце звездах не способен понять те ощущения. Может, лишь первые космонавты, двигавшиеся с досветовыми скоростями, пережили это. Разве сытый поймет голодного? Кругом близкие звезды, экспрессы твои уже третье столетие далеко оставляют за собою свет; дни, недели пути — и ты на месте. Пустота лишь разделяет светящиеся шары с планетами вокруг них, она не сама по себе, она легко преодолима — таков этот район Вселенной, звездная родина человечества. Здесь не заболевают болезнью бездонности, такая болезнь здесь немыслима!

А их терзал непреходящий страх перед неизмеримостью пустоты — ужас вечной, без дна, бездны. Они голодали особым голодом — томлением по вещной материи, будь то звезда или пылевая туманность, планета или рой метеоритов, — только не зловещая пропасть. «Пустота для себя и в себе» — так они острили о ней. Вот каково было их состояние во время многолетнего падения в той бездне!

Нет, больше эти ощущения не появятся в звездном просторе, как бы далеко ни умчался он в новой экспедиции.

Беспредельной бездны, неизмеримого провала во Вселенной отныне не существовало. Мировая пустота была не пуста.

Петр снова поднял голову к звездному небу. В космических просторах мчались волны новооткрытых излучений. Они пересекались и сталкивались в каждой точке мира, они неслись со всех направлений и во все направления. Двести миллиардов расширяющихся волновых сфер, творение и летопись жизни когда-то существовавших людей, миллиарды миллиардов волновых облаков, созданных иными разумными существами, может и не миллиарды миллиардов, а триллионы триллионов. Звезды рождаются и умирают, галактики образуются и распадаются, а в мировых просторах, сравнимые со звездами по долголетию, всюду несутся, слабея, но не уничтожаясь, волновые знаки жизни, что некогда народилась в мире. Нет, не безмерность зловещей пустоты, но радостное соприсутствие всего живого и разумного, что когда-либо существовало, — вот что суждено им отныне ощущать в межзвездных просторах!

И Петр испытал чувство еще удивительней того, в институте... Он словно посмотрел на себя со стороны и увидел: сквозь его тело мчатся — со всех направлений и во все направления — волны, порожденные давно и недавно погибшими разумными существами. Он словно стал фокусом, где переплеталась эти не открытые еще излучения. В маленьком его теле, жившем своей маленькой жизнью, бушевали миллионы иных, давно отгремевших существований.

Его пронзил озноб. Ему стало тесно от толкотни чужих жизней, наполнявших каждую клетку тела. Засмеявшись, он мотнул головой, отбрасывая видения. И в той далекой экспедиции к центру Галактики они встречались со многим таким, что трудно было изобразить вещной картиной, но что отлично поддавалось научному анализу. Важно понимать. То новое, что открылось ему, было просто, в основе его лежали вещественные законы.

Он шел, радуясь новому пониманию. Больше его никогда не настигнет страх одиночества. Всюду с ним будет безмерная, разнообразная, вечная, как материя, жизнь.